Власихинское кладбище

— Бог, каждое утро я давлю на клавишу «Создать». Блаженство писать, несколько часов подряд, и еще большее блаженство перечесть потом, несколько раз. Каким же веселым и довольным должен быть Господь, глядя сверху на нашу мешанину!

Я пил четвертый стакан кофе, когда с кухни сквозь стекло балконной двери мне помахала еще не вполне одетая жена. Была суббота, в субботу она вставала поздно. Скоро на кухне загремели сковородки. Дом оживал и наполнялся смыслом. Запах блинов проникал на балкон и вытеснял и обесценивал мои смыслы.

***

Начавшаяся запахом блинов суббота неожиданно продолжилась звонком на мой мобильный. Мне уже давно никто не звонит, с тех пор, как я потерял работу. Звоню я, и тоже редко, только по делу, в поисках работы, потому что на мобильном почти никогда нет денег.

— Так ты идешь или нет? — сказал голос в трубке, я узнал по голосу Федора и вспомнил, что я обещал сегодня поехать с Федором на кладбище. Я посмотрел через стекло на кухню. Вероятно, у жены имелись свои планы на мою субботу.

— Чё молчишь? — сказал голос.

Я молчал, потому что не успел придумать отговорки. Ехать на кладбище мне было неохота.

— Это… — сказал я. — Я еще не знаю.

— Ну, смотри, — буднично сказал Федор. Я думал, будет уговаривать поехать. Но он не стал уговаривать. — Звони, если что. Я буду там.

Мне стало стыдно перед будничным Федором. Видимо, никто из собиравшихся поехать не поехал.

— Ты там один, что ли? — сказал я.

— Да.

— Галкина же точно обещала?!

— Говорит, дежурство.

— Ясно. Если что, я позвоню.

— Звони.

Я не спросил у Федора, как ехать на кладбище, и он, конечно, понял, что я тоже не поеду. Сволочь Галкина…

Жена неожиданно легко согласилась, что мне надо съездить. Забыл сказать, сказал я, что обещал съездить. Помнишь же Дашкина? Здоровый такой, из отдела писем.

Я набрал Федора. Спросил, как ехать, на какое кладбище. Федор заметно оживился:

— Сядешь на вокзале. Доедешь до Власихинского кладбища. Я тебя встречу у часовни, это в центре.

***

Я не знал, как правильно поставить ударение в названии кладбища (в трубке оно звучало как-то без акцента) и рассчитывал, что знающие люди меня, если что, поправят.

Народ-языкотворец отвечал и так, и этак. Как проехать на ВлАсихинское кладбище, спрашивал я у группы мужиков на остановке. «На ВласИхинское?» — переспрашивали меня.

На ВласИхинское, говорил я в другой группе, бабушке и внучкам. «На ВлАсихинское…», — говорила бабушка и задумывалась. Побегав по привокзальной площади, я все-таки вышел к нужной остановке, она оказалась на проспекте.

Желтенький автобус привез меня к кладбищу. Это было старое кладбище в черте города, здесь давно не хоронили, только выдающихся людей и родственников ранее схороненных. Как обычно на кладбище, здесь было солнечно и грустно. С фотографий на постаментах, начинавшихся от самых ворот, равнодушно смотрели покойники. Солнце на кладбищах всегда усталое, как будто иссякающее, бабушкино. Не как в городе. Я пошел по аллее к кирпичной часовне, крест которой и луковка сияли на солнце.

У часовни ко мне подошла русская старушка, прошамкала что-то, профессионально, как цыганка. Я отдал ей мелочь. Жена дала денег на дорогу, туда и обратно, но в автобусе с меня неожиданно взяли не десять, а тринадцать рублей, и оставшихся все равно бы ни на что не хватило. Старушка меня перекрестила.

В ожидании Федора я походил, не удаляясь от часовни, по могилам. Здесь, в центре, хоронили самых выдающихся людей. «Заместитель председателя облисполкома» прочитал я. Из зеленого гранита выступала суконная морда бюрократа. Поражал размер мемориала. Это было ненормально.

Из боковой аллеи вышел Федор, пожал руку. «Заглянул к отцу, — сказал он. — Он тут рядом». «ВласИхинское или ВлАсихинское?» — сказал я. Федор пожал плечами, ему это было безразлично.

Маленький, похожий на еврея Хохол Федор продирался по заросшим репьем и кустарником дорожкам. Чуть в сторону от центра кладбище казалось полностью заброшенным. Ограды покосились, почернели, кресты завалились, внутри на могилах стоял в пояс выросший бурьян. Тропинки, по которым мы двигались в сторону могилы Дашкина, перегораживали сети старой паутины. Федор в итоге заблудился, но, покружив, все же вышел к цели.

***

Дашкин умер от рака. Это был здоровый, похожий на бывшего боксера или тяжелоатлета сорокапятилетний мужчина. У него

была жена актриса. Много ли вы знаете мужчин, жены которых играют в театре? А мы работали рядом с ним, похожим на штангиста, на Юрия Власова какого-то — такой же хряк и интеллектуал. В очках на мощной голове.

Он очень не любил давать взаймы и никогда не давал закурить. Не из жадности, а из презрения к нам, джентльменам в поиске десятки. Когда он внезапно заболел и прошел курс химиотерапии, я не узнал его, ковыряющего ключом в скважине замка своего кабинета, и только по голосу определил, кто он. «Заходи», — распахнул он дверь. Он неплохо ко мне относился, выделял, как мне казалось, из других. Высохший, как мумия, и все же водянистый, он сел на стул и бросил на стол пачку сигарет: «Закуривай, чего!»

— Здравствуй, Сергеич, — сказал Федор. Я не очень понимал заботу Федора о Дашкине, не такими уж они были друзьями. У штангиста не было друзей. Его друзьями, как у его тезки Пушкина, похоже, были книги. Его огромную библиотеку, которую он никому не показывал, мы увидали только на поминках. (Странно, что я не запомнил жену Дашкина, актрису, а ведь должен был запомнить!)

— А где сейчас его жена? — сказал я.

— В Ленинграде. Там есть специальный дом для престарелых. Богадельня для нищих актеров.

Мы были как бы три поколения, с разницей в 10-15 лет. Я посмотрел на дату дашкинского дня рождения. Выходило, что ему сейчас было бы семьдесят. Старик. Наша задача была — выкрасить железную ограду.

Краска оказалась жидкой, Хохол Федор явно сэкономил. Я подумал, что придется красить на два раза. Мы бы долго терли кисточками ржавое железо, если бы мне не пришло в голову, что краску в банке следует элементарно размешать. Хреновые мы были с Федором работники.

Дело заспорилось. Разлив краску по банкам, мы с Федором пошли периметром оградки, изредка поглядывая друг на друга. Что-то вроде соревнования, кто гуще, кто быстрее.

Разговор наш был необязательным, мы лениво перекидывались фразами, а между ними были целые периоды молчания. В один из таких периодов я подумал, что, может быть, я сейчас

проживаю свой лучший период в жизни. Как знать? За время безработицы я создал несколько рассказов, повесть, дописал роман.

Другое дело, что эта моя работа была для себя, то есть она не приносила денег и, было ясно, не могла их принести. Всего понятнее это было моим родным. Через полгода они стали смотреть на меня как на больного. Которого, конечно, жаль, но — сколько можно! Шутки мои уже не проходили, юмор им казался неуместным.

То же я мог прочесть в глазах знакомых, уцелевших на своих работах. А мне казалось, это я их должен пожалеть.

— Как у тебя с работой? — сказал Федор, словно подсмотревший мои мысли.

Я вяло махнул. Он прекрасно знал, как у меня с работой. Пару недель назад сорвалась как будто уже обещанная мне, железная работа. Я уже разговаривал с директором организации, которой пофиг был мировой кризис. Но что-то опять не срослось. Я занервничал, названивал в контору, пока не надоел директору, и он указал мне мое место. «Вам позвонят, — сказал он, — при любом решении вопроса. У вас появились конкуренты». Черт с ней, с работой, решил я. Я — Бог…

***

Начало припекать. Федор снял кепку, обнажив хохол. За этот хохол его и звали Хохлом, а не за принадлежность к украинской нации. Мы чуть не поссорились недавно, старые приятели, когда зашла речь о Хохле, который слег в больницу, и мы собирались его навестить. Генка, один из нас, сказал, что он слышать не хочет о Хохле, с которым он не сядет на одном гектаре.

— Не знаю, — сказал Николай, старший из нас. — Кто-то где-то что-то сказал… Хочешь об этом разговаривать — валяй, но без меня.

Интересно было посмотреть на нас со стороны. Объективно, все мы были уже старые (хуже — мы были пожилые). Кое-кто был седой, кое-кто — лысый. Не говоря о странгуляционных линиях на шеях. Впрочем, если смотреть не объективно, не со стороны, легко было в каждом из нас узнать мальчишку из того мальчишника конца восьмидесятых, который собрал перед свадьбой Николай.

На другой день мы с ним поехали к Хохлу.

— …Сын его тоже в Ленинграде, — сказал Федор.

Он уже дважды назвал Санкт-Петербург Ленинградом, очевидно не задумываясь. Не придавая этому значения.

— Это который сын? — сказал я. — Тот, про которого он говорил, что — одна судорога, а потом восемнадцать лет приходится платить?

Хохол отложил кисточку. Пошарил в сумке и выставил водку, неправдоподобно маленькую емкость.

— Нет, он говорил не так, — сказал Хохол. — Пять секунд удовольствия, а платишь восемнадцать лет.

Докрасив, с легким сердцем, будто выполнив ненужную, но важную работу, двинули на выход с кладбища. Решено было еще выпить, глупо было бы еще не выпить. Скупой сначала, Федор становился расточительным потом.

Мы шли по ровной земляной дороге, мимо свалки. Свалка дымилась, ее разгребал, утюжил трактор.

— Сдохну, хоронить меня придешь? — сказал Федор.

Я, чтобы не сглазить, не стал говорить обычное, что неизвестно, кто… А вдруг — правда, подумал я. Где они, к примеру, возьмут фотографию на памятник? Уже лет десять я не делал новых снимков. На старых я был неприлично молодой. Кто, вообще, возьмется хоронить, если я безработный, человек без организации?

***

Скоро мы шли обратно к кладбищу. Другого места, где можно спокойно выпить, не нашлось.

Федор привел меня к дыре в заборе. Мы расположились на лужайке, как бы еще не на кладбище, а рядом. Место, закрытое от чужих глаз кустарником, явно было насиженным, вокруг валялись пустые бутылки и пакеты. Я бы не удивился, обнаружив в траве и презервативы.

Выходило, что Хохлу сейчас хуже, чем мне. Я еще мог найти работу, он уже не мог. Разговор вертелся вокруг поисков работы. Хохол плохо старел. От энергичного, тридцатилетней давности Хохла в нем не осталось ничего.

Федор дал денег на автобус и ушел вглубь кладбища. Я пошел к остановочному павильону.

Остановка была сверху донизу расписана матерной бранью и изображениями гениталий.

Мне вспомнился Гоген. (Или Ван Гог? Это всегда как будто один человек. Нет, все-таки Гоген. Ван Гог — это который ухо, Гоген — Океания, туземцы.) Великий и ужасный Поль. А не уехай он на Острова? Так бы и умер жалким воскресным художником, ничтожным клерком.

Я завернул за угол павильона и с размаху выбросил в бурьян пакет с остатками хлеба и колбасы. Ну его, ВлАсихинское (или все-таки ВласИхинское?) кладбище.

***

Через день, рано утром в понедельник, зазвонил мобильный, и мне предложили срочно, через час, явиться на работу.

— Если вы, конечно, не раздумали, — сказал директор.

Через полтора часа я бегал по забитым людьми коридорам поликлиники и собирал справки, подтверждающие мою полноценность. А вечером того же понедельника ехал в купе скорого поезда в большой промышленный сибирский город, где находилось головное учреждение организации. Во вторник в головной конторе начинался семинар для вот таких, как я.

Если вы думаете, что я тут ловко подверстал под свой рассказ мораль (поездка через не хочу на кладбище, мелочь старушке… Есть Бог! и Он все видит), то это не так. Во-первых, все, о чем я рассказал — чистая правда, ничего я не подверстывал.

А во-вторых…

Утром в больничном коридоре, дожидаясь очереди к окулисту, я обратил внимание на карточку, которую мне выдали внизу, в регистратуре. На титульной странице, крупно, было выведено шариковой ручкой в строке, следующей сразу за фамилией: НЕ РАБ. Новую карточку мне оформляли, когда я пришел сюда с простудой, безработным, с полисом, полученным на бирже.

Надпись безнадежно устарела. С понедельника я уже был на службе. РАБ. При чем тут Бог?

Геронтология любви

Примерно через год Збруев заметил, что в трамвае с ним ездят одни и те же люди. Открытие потрясло Збруева. Ездил себе, отдельный от других. И вдруг узнал, что он один из них.

Сначала он запомнил университетского вида татарина в старом классическом костюме, с галстуком, с зачесанными назад волосами, черными бровями.

Потом к татарину добавились его товарищи, два русопята в таких же потрепанных костюмах. Выходили они, а в пути к ним присоединялась группа пожилых, но бойких женщин, на остановке «Университет».

Збруев выходил на следующей остановке, она называлась «Радиозавод». Вместе с ним сходила девушка в дешевом джинсовом костюме. Часто они вместе заходили по дороге в железную будку, где Збруев покупал сигареты, а девушка — сырок или пакетик кофе. Очевидно, девушка стеснялась делать столь ничтожные покупки при Збруеве и часто пропускала его вперед, как будто изучая товары на полках и в витрине.

Кроме джинсовой девушки и университетских, Збруев начал узнавать других. Дед с внучкой проезжал всего две остановки — очевидно, обязанностью деда в обкомовской шляпе, бывшая номенклатура, было отводить девочку в садик. Коротко стриженая девушка в полосатой футболке выходила на площади Октября, и Збруев всегда с жалостью провожал ее взглядом: энергичных девушек в вагоне было мало. Какой-то боец в тренировочном костюме с надписью «Северо-Кавказский федеральный округ» на спине, абрек, вместо того чтобы нормально грабить население, каждое утро ездил на «четверке», уезжая дальше збруевского радиозавода — туда, где, кажется, уже ничего не было, кроме кольца и довоенной ТЭЦ.

Белокурая возникла, будто из тумана, серым августовским утром, когда Збруев проездил на «четверке» год и понял, что ездит с одними и теми же людьми. Вошла на остановке «Вокзал», где всегда садилось много пассажиров, и встала в углу первой площадки. Со своего места в районе третьего кресла Збруев видел

новенькую, незнакомку. Она лишь раз взглянула в чрево хорошо набитого трамвая, зацепив твердыми глазами и взгляд Збруева, и больше уже не поворачивалась к пассажирам.

Збруев с удовольствием смотрел на профиль незнакомки. Таких здесь еще не было. Тоненькой Белокурой можно было дать лет двадцать пять. Может, чуть меньше. То есть она не была студенткой. Уезжала она дальше «Радиозавода». Збруев, зная, что незнакомка смотрит в окно, пошел в сторону железной будки упругой походкой, выпрямляя спину и помахивая сумкой.

На следующий день она опять вошла в трамвай. И на следующий. «Четверки» утром ходят с интервалом в три-четыре минуты, легко было разминуться, но почему-то Збруев всегда попадал с нею в один трамвай.

Он успел ее хорошо разглядеть. Беленькая. Большие умные глаза. Иногда они казались голубыми, но были, скорее, серыми. И чистыми. Как будто должны были заплакать, но не стали плакать, не пустили слезы, а омыли ими глаза изнутри, отчего глаза сделались чистыми и твердыми. Нос был, пожалуй, большеват, но именно в ту меру, когда недостаток можно назвать милым.

В общем, она понравилась Збруеву. Он только не мог понять, куда ездит Белокурая, где она работает. Представить такое создание работником ТЭЦ было трудно. Кисти рук у Белокурой, которыми она обхватывала поручень, были, впрочем, чуть больше и сильнее, чем требовалось для такого существа, но все равно ее нельзя было вообразить среди адских котлов.

Збруев, пожалуй, слишком откровенно, слишком смело разглядывал Белокурую, она не могла этого не заметить, но казалось, что это ее не раздражает. Наоборот, со временем она, войдя в вагон и встретившись глазами со сверлящим взглядом Збруева, делала головой что-то вроде кивка — не сам кивок, порядочная девушка не могла кивать незнакомцу, но некий намек на него, легкую отметку: вижу, здесь. И занимала место в углу у окна, лицом к окну.

Если кресло в углу вдруг оказывалось свободным, Белокурая ставила на него сумку и тонкий пакет, с которыми обычно ездят на работу молодые женщины. Незнакомка никогда не садилась. Збруев теперь тоже всегда стоял. Билетик она, коротко взглянув на номер, клала в сумку.

Иногда Белокурая опаздывала, Збруев видел ее, она шла к остановке от вокзала. Он уже догадался, что незнакомка живет где-то в пригороде и, не имея там работы, ездит на работу в город. Может быть, там, среди грубых котлов на ТЭЦ, есть маленькая фельдшерская комната, представлял Збруев. Чересчур, впрочем, умные глаза… Чистые, твердые глаза не медсестры, но доктора.

Кем бы она ни была, жилось ей нелегко. На Белокурой всегда были голубые джинсы. Еще в ее девичьем гардеробе были майки. Две. Зеленая и белая. Один день она ездила в белой, другой день в зеленой. Милая, бедненькая Белокурая, любовался Збруев Белокурой, кладущей билетик в кошелек, а кошелек — в белую сумку. Может, ей оплачивали потом где-то эти проездные документы, чёрта ли было складывать их в сумку?!

В дождь, в сентябре зачастил дождь, Белокурая входила в трамвай в темной куртке с капюшоном. Ее белые волосы были упрятаны в монашеский колпак. Наружу, в профиль, торчал только нос. От этого она, со следами ветра и дождя на капюшоне, делалась еще милее.

В один из таких дней, с дождем с утра и ясной, солнечной погодой к полудню, Збруев поехал по делам в город. Прыгнул в «четверку» и пошел вперед в вагоне. И едва не уткнулся в спину Белокурой. Он поздно узнал ее волосы на узкой спине в белой майке. Куртку она держала в руках. Было жарко.

Збруев, как заяц, заметался по проходу. Отпрянул, развернулся и сделал попытку спрятаться в хвосте вагона за группой худых подростков, что ему отчасти удалось. Он сам еще закрылся рукой, уцепившись за поручень. Впрочем, Белокурая ни разу не повернулась и скоро сошла на рынке.

Збруев ревниво проводил ее глазами. Белокурая работала на ТЭЦ художником? Поехала за красками? Хотя, на кой на ТЭЦ художники?

Год назад Збруев не задумываясь познакомился бы с Белокурой. Но теперь Збруев был не тот, что год назад.

Во-первых, неприлично было начать разговор в трамвае. Приличные люди не должны знакомиться в общественном транспорте. Впрочем, он мог дождаться незнакомку у вокзала. Причина была в другом. А в чем?

А вот в чем, догадался Збруев. Он сделал покупки в лавке радиодеталей и стоял на перекрестке, дожидаясь все ту же «четверку». Вся жизнь его вертелась теперь вокруг этой чертовой «четверки», выписывая, если взглянуть сверху, неправильной формы странную восьмерку.

Вероятно, стиль и смысл знакомства все-таки зависят от того, сколько мужчине лет. Збруев впервые вдруг задумался об этом здесь, на перекрестке, под сентябрьским солнцем. Все равно у двух людей где-то на дальнем плане, не проговоренной, но присутствует возможность условной женитьбы, заведения детей. Оттого легко, естественно знакомятся ровесники.

Утром Збруев привычно сошел на «Радиозаводе» с толпой пожилых и молодых людей. Неизвестно было, где они работали, но было ясно, что работа их такая же ничтожная, как и покупки малахольной джинсовой, которая шла после утреннего шопинга к воротам радиозавода.

Збруев шел дальше, загребая в сторону от основного пешеходного потока, закуривая и любуясь видами рассвета. Шесть минут составлял его маршрут от остановки до работы. Потом Збруев, стукала железная калитка, заходил на огороженную кованым забором территорию конторы.

Год назад он лишился основной работы. Осталась запасная, которую он не любил и делал нехотя, за небольшие деньги. Неосновная, когда стала основной, не увеличила зарплату, но заставила его ходить через вертушку проходной.

У себя в кладовке программистов Збруев вновь вернулся к размышлениям. Геронтология любви, подумал Збруев о своей теории. Пятьдесят — всё, шабаш. Тут или всерьез любовь, навеки, или, извини, за деньги. Збруев усмехнулся. На него удивленно посмотрели два других биллгейтса.

Незнакомка появилась лишь на третий день. Их ритмы опять совпали. Качаясь в проходе, Збруев смотрел в профиль Белокурой. Хорошо было бы устроить Белокурой праздник. На неделю. С розами, коробками конфет и загородными шашлыками. Любви навек Збруев в себе не чувствовал. Оставалась неделя-другая сладкой, райской жизни, которая без денег будет пошлой, а с деньгами — в самый раз, законной. Но у него не было

денег. Их не было даже на день непошлой жизни, а одного дня тут было мало.

Не приглашать же Белокурую в театр! На театр тоже, впрочем, денег не было.

Вечером Збруев успевал обычно выкурить на остановке сигарету или две. «Четверки» вечером ходили редко. Очевидно, в депо изучили пассажирские потоки и не гоняли зря железные машины. Трамвай и впрямь ходил полупустым. Ни одного знакомого лица. Неизвестно, куда пропадали вечером знакомые. Белокурой, например, в трамвае вечером никогда не было.

Она стояла у жестянки остановочного павильона. На этот раз Збруев увидел ее издали и встал далеко от остановки. Закурил, рассматривая абрис хрупкой незнакомки. За ее спиной горел закат. Белокурая переминалась у жестянки, а потом пошла на угол, мимо Збруева. Проходя рядом, она распахнула светлые глаза на Збруева и как будто улыбнулась, покривила тоненькие губы. Незнакомка постояла на углу, посматривая в сторону завода. Тот, или те, кого она ждала, не приходил.

Потом пришла «четверка», и они сели в трамвай.

Белокурая привычно не оборачивалась, но по напряженной спине незнакомки, исчез даже профиль носа, Збруев чувствовал, что с ней неладно. И почему-то считал себя виноватым. И дело было не в геронтологии. Черт с ней, с геронтологией, подумал Збруев. И с деньгами. Там, похоже, много-то не надо. Но Збруев знал, что будет потом, если уж совсем без денег. Схватит же, прижмет покрепче. И будет шептать, беситься. И смотреть влажными бездонными глазами. Вот если раньше с этим было просто, то теперь почему-то стало сложно. Должно бы быть наоборот, а оно — нет.

Утром в трамвае Белокурой не было. Збруев отсидел день, строя планы своей новой фантастической работы, но ничего оригинального не выдумал, а только разболелась голова. Ночью ему приснился сон. Он ехал в новеньком автомобиле по улице Новой. В потоке людей, вышедших с вокзала, он увидел девушку в знакомой куртке. Он узнал Белокурую, и сердце у него забУхало в груди от радости и от предчувствия чего-то не очень хорошего.

— Узнали меня? — высунулся из машины Збруев. — Я — Збруев. Помните, мы с вами ездили в одном трамвае? Эх-х!..

— Дурак ты, — повернулась к нему Белокурая, в слезах. — Дурак, дурак…

Збруев проснулся, он замерз ночью без одеяла и поэтому запомнил сон. Больше он ее никогда не видел.

Русский хач

Я все-таки заставил их спеть «Утро туманное». Давясь от злости, на два голоса они исполнили. Бросая на меня, как молнии, полные ненависти взгляды. Но что мне были их молнии!

Я ведь успел нарезаться задолго до официального начала праздника. И когда мы все сели за длинный стол, и сдвинулись и зазвенели в честь Хозяина бокалы, был уже невменяемым. Когда они допели, я, размазывая слезы, попросил их спеть романс еще раз. Хватал за руки певицу и Хозяина.

— Э-э… — сказал он, — уважаемый…

Я убрал руки. Запели свое. Певица неплохо пела, он вторил, глядя на нее совсем другими, мягкими глазами. Он любил все первоклассное, единственное в своем роде, лучшее. И часто ошибался насчет лучшего. Ему доложили обо мне как об одном из первых в своем деле, и он перекупил меня. Первым я не был, не был и одним из первых. Я знал себе цену, она была не высокой. Может быть, она была высокой, но в другом совершенно измерении, к делам Хозяина никаким боком.

Певица, при его деньгах, тоже могла бы быть поголосистей, или хотя бы симпатичнее. Она приехала, когда стало понятно, что никто из сорока примерно человек гостей Хозяина не умеет играть на гитаре. Послали машину — туда и обратно 700 километров, — и она приехала.

Это было на другой день, когда мы перебрались в имение Хозяина. В первый остановились на его турбазе. У него были разные бизнесы, он не клал яйца в одну корзину. Чересчур странный, правда, эклектичный был замес. Ну, в этом я не понимаю, может, так и надо: заводы, газеты, пароходы.

— Арамян, — сказал он, подавая руку, когда мы столкнулись с ним впервые в офисе. Глядя открыто и, по-моему, слегка

насмешливо. Я пожал руку и ничего не сказал. Будто он пошутил, а я не нашелся с шуткой в ответ. Офис еще не оброс народом, он шел один по пустому коридору. С тех пор я всегда видел его одним. Захотят убить, убьют, охрана не поможет, говорил он. Пижон в джинсах и в расстегнутой, выглядывает крест, белой рубахе. Возможно, я недооцениваю его проницательность, и он как раз хотел заставить мои измерения работать на него. Как знать? Как-то ведь крутился его бизнес, он был одним из немногих долларовых миллиардеров в нашем городе.

Мне дали слово одному из первых на турбазе, новичку в компании. Я поднял бокал за империю Хозяина, вернее, за его команду, ближний круг. Имею честь впервые наблюдать, сказал я.

Абсолютно я им был неинтересен. Я убедился в этом через пару перекуров с менеджерами Арамяна. Хотя я очень хотел им понравиться. Но они не обратили на меня внимания. Менеджеры были налитые кабаны-подсвинки, молодые парни. Слева от Хозяина сидела блонд, самое яркое пятно. Желая и ей понравиться, я обратился к ней.

— Я, — сказала блонд, — не девушка. Я реставратор.

Не люблю, когда меня не замечают. С этим как-то странно уживается моя нелюбовь быть центром компании. Центром я не мог и не хотел быть, но и оставаться на задворках не хотел тем более. Окружение Хозяина было типичным. Был серый кардинал, он давал слово, направлял ход праздника. Директора заводов, капитаны пароходов. Рядом со мной сидела бойкая старуха. Оказалось, она принимала роды у мамы Хозяина. Позднее он построил для нее перинатальный центр. Телохранителем Хозяина был пожилой мужик, похожий не на бодигарда, но бывшего зэка. Он отказался от слова, но о нем все равно рассказали. Когда-то он заслонил Хозяина от удара ножом и теперь был его бессменным шофером и телохранителем.

— Как Гиль у Ленина, — сказал я тихо. И перехватил насмешливый и трезвый взгляд Хозяина. Но не придал ему значения.

Постепенно мне стало понятно, что весь ближний круг Хозяина состоял из вот таких людей. Родных и близких и взрослых детей родных и близких, тех самых кабанчиков. Мой куратор —

единственный человек, которого я знал здесь в лицо — был одноклассником Хозяина. Из посторонних, кроме меня, были две художницы, а также жены капитанов и директоров. Впрочем, все они давно знали друг друга.

На другой день мы ехали в имение. Была жара, мне наливали медовуху в крышку термоса. Они намеренно накачивали меня, мои соплеменники-подсвинки, перемигиваясь и пряча улыбки. Когда Арамян умрет (а он умрет однажды, уже за пределами рассказа), все они окажутся обыкновенными терпилами. Не сумеют удержать свой бизнес, и он будет отнят более решительными лицами кавказских, русских и других национальностей.

В имении — огромный дом Хозяина, дом для гостей — гостей повели, специальный человек, с экскурсией, а я пошел к реке. Чтобы спуститься к ней, пришлось бы прошагать ступеней сто вниз по хозяйской лестнице. Навалившись на железные перила, я смотрел на реку, думая, что эту красоту, как женщину, нельзя считать своей. Не надо думать, думал я, что красоту можно купить. Она и так, даром, твоя. Но стоит ее оградить забором — красота исчезнет.

Меня нашел тот самый специальный человек и все же повел осматривать дома Хозяина. Хозблоки, баню. Обходя зады имения, я вдруг заметил самого Хозяина. Он курил, горбясь, — узкое лицо, щетина — и не выглядел счастливым. Может быть, подумал я, один наш разговор перевернул бы его представления о лучшем?

— Может быть, — сказал я, — по сто грамм, Евгений Трдатович?

Имя ему дала русская мама, а странное отчество — армянский папа.

— По сто? — Он встрепенулся. — Ну, конечно!

В столовой, где горел камин и кардинал лично готовил шашлыки, кабанчики оттерли меня от Хозяина. Потом приехала певица, мышь-библиотекарь, и я все-таки заставил их спеть мне «Утро туманное». Дальше — обрывками.

Я ушел в баню. Посидел в жаре парилки и прыгнул в бассейн. Бассейн немного отрезвил меня. На выходе из бани я едва не наступил на блонд. Она сидела на ступеньке. Оба дня здесь я все время натыкался на оцепеневшие, как статуи, и одинокие фигуры.

Я присел рядом.

— Что за отчество такое — Трдатович? — сказал я.

— Не всем быть Ванями и Анями, — задумчиво сказала блонд. Как будто ей сто лет. Она и правда была не так молода, как показалось мне. Волосы блонд, я присмотрелся, были явно крашеные.

— Ваня у нас — Аванес, Аня — Ануш. Я — Ануш. Что плохого?

— Я не говорю, что плохо. Интересно просто. Он что, православный — крест на шее?

— Крест по-армянски — хач, — сказала блонд.

Рано утром разъезжались. Безлошадных — меня, двух художниц — отправляли на микроавтобусе. В горах висел туман, седыми клочьями.

Куратор отозвал меня:

— Ты о чем вчера говорил с Хозяином?

— О чем?!

— Он велел передать, что ты уволен.

С горки спускался к нашей группе, в лыжной шапочке, Хозяин.

— Евгений Трдатович, спасибо! — бросились к нему художницы.

— Ну, наконец, хоть кто-то! Уважаемый… — махнул он мне.

Почему в России, когда хотят унизить человека, говорят ему «уважаемый»?

Мы отошли. Он извлек из кармана пачку тысячных купюр, и как-то по-скобарски, отвернувшись, отделил от пачки несколько банкнот. Передал мне.

— Э-э… — сказал он. Имя он забыл.

— Сергей.

— Сергей, ты проследи, чтобы разъехались нормально, на такси. Развези их.

Он уже забыл, что уволил меня.

Мы загрузились в белую «Газель». Поехали.

А что за праздник-то был, зачем мы выезжали на два дня? Не помню. Кажется, никакого праздника и не было. Так просто выезжали. Познакомиться.